

## ЛЕВ ШЕСТОВ И НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ

**В. В. Лашов**

Московский  
государственный  
университет

e-mail: l\_vv@me.com

В статье дается экспозиция отношения Л. Шестова к творчеству Н. Гоголя. Показано, что Шестов предлагает интерпретацию облика писателя, отличающуюся от тех образов, которые были созданы радикально-демократической и символистской критикой. Шестов дает объяснение творчеству и трагедии Гоголя через идею поиска писателем путей к подлинности посредством погружения в мир, который страшит и отвращает нормального человека. Именно за пределами обыденного и привычного Гоголь искал истину, подвергая себя мучительным погружениям в темные бездны собственного внутреннего мира. Шестов, по мнению автора статьи, находит Гоголя на грани реального и ирреального, бытия и ничто, где возникает возможность прозреть истинную и подлинную действительность.

Ключевые слова: Шестов, Гоголь, творчество, трагедия, реализм, символизм, внутренний мир, тайна, прозрение.

Из всей плеяды русских писателей, творчество которых привлекало внимание Льва Шестова, Николай Васильевич Гоголь является, пожалуй, наиболее загадочным. Судьба Н.В. Гоголя, с одной стороны, исключительна, а с другой – символизирует трагичность жизни творца, вдохновение которого неизменно сопряжено с творческой мукой, тоской и отчаянием. Нескрываемый интерес писателя к запредельному и потустороннему миру указывает на него как на обладателя «второго» зрения, дарованного таинственным ангелом смерти. Шестов почувствовал в Гоголе – его судьбе и творчестве – прикосновение страшного ангела: «Его сверкающие остроумием и несравненным юмором произведения – самая потрясающая из мировых трагедий, как и его личная жизненная судьба. И его посетил грозный ангел и наделил проклятым даром второго видения. Или этот дар не проклятие, а благословение? Если бы хоть на этот вопрос можно было ответить! Но весь смысл второго видения в том, чтоб задавать вопросы, на которые нет ответов, потому что они так настоятельно требуют ответов», Это «невыразимо страшное чувство перехода в инобытийное существование» сумели потрясающе выразить многие русские писатели, но पहले всех в этом отношении был, с точки зрения Шестова, Николай Гоголь.

В оценке личности и творчества Гоголя Шестов сохраняет присущее ему своеобразие и независимость взглядов и суждений. Он оставляет фактически без внимания солидный пласт демократической литературной критики, увидевшей в творчестве Гоголя те идейно-эстетические принципы, которые полагались первостепенными в критическом реализме. Говоря о Гоголе, Шестов не придает значения ни критике, ни сатире, которыми, казалось бы, изобилует гоголевское творчество. Не ощущает он в творчестве Гоголя и пафоса обречённости самодержавно-крепостнического строя, что было особенно ценно в Гоголе для В.Г. Белинского. Как известно, его концепция творчества Гоголя стала причиной того, что на протяжении всего XIX столетия писатель воспринимался как реалист, глава нового направления – натуральной школы, а основным пафосом его произведений провозглашалась критика современной действительности. В трансляции «энергии негодования», как выразился впоследствии Г.Р. Чернышевский, радикально-демократическая критика видела себя продолжательницей дела Гоголя: неслучайно Чернышевский провозгласил о «гоголевском периоде русской литературы». Не только демократическая критика, но и молодые писатели-реалисты признавали себя последователями Гоголя: недаром широко известна знаменитая фраза, приписываемая Достоевскому: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели»». Менее известно суждение И.С. Тургенева о том, что Гоголь был больше, чем просто писатель: он раскрыл нам нас самих.

Поэтому кажется странным на первый взгляд убеждение многих представителей русского символизма о том, что их предтечей также является Гоголь, тот, кого традиционно уже привыкли считать одним из основоположников отечественного реализма. В ис-





следованиях В. Розанова («Гоголь»), Д. Мережковского («Гоголь и чёрт»), А. Белого («Гоголь»), А. Блока («Дитя Гоголя») родился «новый» Гоголь – мистик, романтик, символист. Символисты усмотрели в Гоголе основателя нереалистической эстетической системы и ценили в нём писателя-мистика, мастера фантазмагорической псевдореальности, абсурда и условности.

Лев Шестов занимает своеобразное положение в выше обозначенной литературе о Гоголе. В суждениях о Гоголе, как ни о каком другом писателе, ярко прослеживаются особенности Шестова-мыслителя и его творческого метода блуждания по душам, определяемого нами как экзистенциально-психологический. Если, обращаясь к творчеству А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Лев Шестов обильно цитирует отдельные фрагменты их сочинений, при этом, однако, не являясь обычным историком литературы или литературным критиком, то, говоря о Гоголе, он и вовсе не обращается к текстам писателя. Он непосредственно погружает читателя во внутренний мир писателя, полагая, что в случае с Гоголем мы можем говорить о фактически абсолютном тождестве между писателем и его произведениями. С одной стороны, он видит в Гоголе великого реалиста, беспощадно обрисовавшего русскую действительность, с другой – идёт в общем русле литературно-философской критики начала XX столетия. Но в оценке реалистических картин в творчестве Гоголя он не склонен, как это делало большинство, прислушиваться к пушкинскому восклицанию «Боже, какая грустная Россия». Для Шестова важны собственно гоголевские позднейшие признания и откровения из «Выбранных мест из переписки с друзьями» 1847 г., настоящие записки сумасшедшего, как определяет их Шестов, где автор открыто говорит, что гоголевские типы имели целью преследовать всё дурное, что есть в человеке, и, прежде всего, отрицательные свойства, обнаруженные писателем в самом себе. «Я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что всё это карикатура и моя собственная выдумка», – пишет Н. Гоголь. До Шестова, этого великого охотника до душ самих писателей, мыслителя всегда свободного от какой бы то ни было тенденции, литературная критика, увлечённая каким-то своим направлением – в случае с Гоголем, реалистическим или мистическим – игнорирует или не замечает этот очевидный, казалось бы, факт. Между тем сам Шестов настаивает, что «книги Гоголя до тех пор останутся для людей запечатанными семью печатями, пока они не согласятся принять это гоголевское признание». Шестов, понимая логику развития литературного процесса в России, отмечает, что Гоголь должен быть признан предшественником Ф.М. Достоевского. «...В русской литературе Достоевский не стоит одиноко, – пишет он. – Впереди него и даже над ним должен быть поставлен Гоголь. Все произведения Гоголя... одни непрерывные записки из подполья». Он ценит в творчестве Гоголя экзистенциально-философскую компоненту его творчества, предчувствуя в нём те темы, которые впоследствии так неотступно станут преследовать Достоевского. И главная из них – борьба с властью Необходимости и протест против «всемства».

Отдельно Шестов не посвящает Гоголю ни одной из своих работ. В архиве Шестова сведений о Гоголе мы находим также чрезвычайно мало. Лишь в письме к Б. Ф. Шлецеру от 21 декабря 1932 года в связи с его книгой о Гоголе, которую автор пожелал посвятить Льву Шестову, мы встречаем беглое упоминание о Гоголе и его втором томе «Мёртвых душ». Между тем корпус главных работ Шестова содержит в себе довольно пространственные суждения о писателе, позволяющие передать шестовскую интерпретацию загадочной личности Гоголя, его беспокойного духа и мятущейся души. Особенно важной для нас в этом отношении является работа «На весах Иова» (1929), в которой содержатся наиболее ценные суждения мыслителя о писателе.

Впервые же Л. Шестов обращается к имени Николая Гоголя в работе «Добро в учении гр. Толстого и Ницше» (1900), когда вместе с Ф. Ницше он пытается осуществить психологическое проникновение в тайны великих людей, судьба которых обычным людям кажется исключительной и завидной. У Ницше Гоголь оказывается в одном ряду с Мюссе, По, Леопарди, Клейстом, Байроном. Исходя из мотивов их творчества, Ницше, в передаче Шестова, даёт следующую зарисовку их внутреннего облика: «Эти великие поэты... люди мгновения, восторженные, чувственные, ребячески наивные, легкомысленные и непрочные в своей подозрительности и доверчивости; принужденные скрывать какую-нибудь брешь в своей душе; часто своими сочинениями ищущие отомстить за пе-





режитый позор (innere Besudelung); в своем парении стремящиеся освободиться от напоминаний слишком хорошей памяти; топчущиеся в грязи, почти влюбленные в нее – до тех пор, пока они не уподобляются блуждающим у болота огонькам и не притворяются звездами – народ их тогда называет идеалистами; часто борющиеся с вечным отвращением к жизни, с постоянно вновь возвращающимся к ним привидением неверия, которое охлаждает человека и научает его желать «gloria» и жрать «веру в себя» из рук опьяненных льстецов: какое мучение эти великие художники и вообще эти великие люди для того, кто однажды разгадал их (выделено мною – В.Л.)».

Лев Шестов, как и Ницше, заражается этой мукой, болеет этой разгадкой, разделяет утверждение Ницше о том, что каждый глубокий мыслитель на самом деле больше боится быть понятым, чем не понятым. Для обывателя или классического литературного критика, действительно, было бы безопаснее пройти мимо пороков и ошибок великих людей, их боли, и, как пишет Шестов, «великой неудачи, великого несчастья, великого безобразия». Но Шестов, полагающий, что «философия есть философия трагедии», вчитываясь в книги и сочинения Ф. Ницше, как и Н.В. Гоголя, понимает, отчего они говорили «о “безобразнейших” людях и их вопросах»: «Ницше и Достоевский, как и Гоголь, сами были безобразнейшими людьми, не имевших обыденных надежд. Они пытались найти своё там, где никто никогда не ищет, где по общему убеждению нет и не может быть ничего, кроме вечной тьмы и хаоса...».

Между тем, среди этих великих художников, внутренний мир которых так блестяще, суггестивно и психологически достоверно, описали Ницше и Шестов, Гоголь как никто другой был вырван из тисков эмпирического мира и тем самым, по мнению Шестова, приближен «к чему-то столь необычному и столь новому, что ему должно казаться, что он вышел из области действительности и подошёл к вечному, изначальному бытию». Фантастический мир его мистических персонажей – ведьм, чертей, колдунов и утопленников – был для Гоголя, полагает Шестов, даже большей реальностью, нежели мир его реалистических героев – Чичикова, Собакевича и Плюшкина: «И колдуны, и ведьмы, и черти, так неподражаемо ими описанные, и все ужасы и очарования, пробуждающиеся в человеческой душе при соприкосновении с запредельными тайнами, непреодолимо влекли к себе Гоголя. Если бы вы пожелали ответить на вопрос, что было сущностью Гоголя, его природой, и что в нём было внешнего, наносного, – иначе говоря, где можно найти настоящего Гоголя, там ли, где отвела ему место “история” культуры, или там, где парила его безудержная фантазия, вы бы не имели никаких данных для ответа».

Как видим, Шестов остаётся верен себе, его интересует прежде всего душа Гоголя. Именно поэтому Шестов считает ошибочным видеть в нём обычного писателя. По его мнению, он не был сторонним наблюдателем и «бытоописателем» народной жизни, «он сам был пьян жутью сказки и мифа – жил в сфере фантастического не меньше, чем признанном всеми реальном мире». Область загадочного не казалась Гоголю слишком опасным развлечением. Уже в ранних своих произведениях, отмечает Шестов, Гоголь «стал подходить к той заветной черте, которая отделяет обычную, всем доступную действительность от скрытого для смертного вечной тайны». Однако, как выяснилось уже к концу жизни, эти экзистенциальные опыты с потусторонним оказались не столь уж безобидными для психики самого писателя, о чем свидетельствуют и «Мёртвые души» и «Избранные места из переписки с друзьями» – настоящие «записки сумасшедшего». В этих произведениях, считает Шестов, в совершенно иной форме «вырываются вновь на поверхность скрытые чаяния народной души. Тот же Вий, те же колдуны, те же ведьмы...».

Гадая о судьбе народной и всего человечества, Гоголь гадал, прежде всего, о своей собственной судьбе: «...Не других, а себя самого описывал и осмеивал он в героях «Ревизора» и «Мёртвых душ»... Не худшие из нас, а лучшие – живые автоматы, заведённые таинственной рукой и не дерзающие нигде и ни в чём проявить свой собственный почин, вою личную волю». Однако попытки Гоголя вырваться к подлинному существованию и прозреть своё будущее, как и будущее России («Русь, куда же несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа») оказались безуспешными: «Бесчисленный сонм чертей и иных могучих духов не мог приподнять веки Вию. Не может открыть глаза и Гоголь...». Ещё в ранней работе «Пушкин» Шестов отмечает это гоголевское бессилие «открыть глаза»: преодолеть ужас безобразной и удушающей реальности: «Все знают страшную судьбу Гоголя. Он был реалистом, он описал нам все ужасы действительной жизни с её Хлестаковыми,





Сквозник-Дмухановскими, Собакевичами, Маниловыми и т.д., но сам не вынес ужасов реализма и пал жертвой своего творчества. Он не разрешил загадки сфинкса, и сфинкс – сожрал его». И именно поэтому, считает Шестов, Гоголю суждено было уступить место Пушкину, сумевшему более полно постичь тайну жизни.

Одним из самых труднообъяснимых и мучительных поступков, как для самого Гоголя, так и для всех, кто соприкасался с его творчеством, стало сожжение писателем рукописи второго тома «Мёртвых душ». Впоследствии трудно найти такого мыслителя, критика или исследователя-гоголеведа, который оставил бы этот факт без внимания и попыток объяснения. Не мог не коснуться этой темы и Шестов. В работе «Начала и концы» он пытается объяснить этот таинственный поступок Гоголя, прибегнув к одной из постоянно поднимаемой и развиваемой им теме истинного и ложного богоизбранничества. Если поэт или мистик, «ничтожнейший среди ничтожных мира», в момент откровения и состояния экстаза, «когда Бог приложил свою десницу», является проводником божественного смысла, и сам Бог говорит его устами, то пророк, полный сознания своего собственного величия или величия возложенной, как он полагает, на него божественной миссии, напротив, закрывает для своих последователей всякие пути к спасению. Потому Шестов в целом не одобрял явления пророчества ни в философии, ни в религии вообще, ни в русской литературе в частности. Он мог восхищаться творчеством Ф.М. Достоевского или Л.Н. Толстого – писателей, по общепризнанному мнению отмеченных пророческим даром, – только в период их мучительнейших сомнений и исканий, когда они действительно чувствовали себя ничтожнейшими среди людей. Громогласно проповедующих и провозглашающих истину – метафизическую или политическую – он их не выносил, разоблачал и уличал в духовном бессилии и неизбежной фальши, полагая проповедь самым ярким и опасным выражением срыва, интеллектуального и духовного крушения. Но как бы то ни было, просветительская вера во всеислие слова, облагораживающее воздействие искусства и тем самым мессианскую избранность писателя была чрезвычайно характерна для русской литературы в целом и для Гоголя в частности. В ходе «блужданий» Шестова по душам великих русских писателей им было подмечено это одно из их сильнейших метафизических искушений, которое вынесли немногие. Однако уверенность в том, что писатель может находиться у Бога на виду и быть избранным им для особых поручений, неизбежно рассеивается с годами и приводит к горькому разочарованию. Не сумасшествие Гоголя, как это принято считать, и не его творческие неудачи, а именно болезненное преодоление иллюзии богоизбранничества, по мнению Шестова, и стало причиной того, что Гоголь сжигает рукопись второго тома «Мёртвых душ». Уничтожение произведения Гоголем есть выражение его прозрения и высшей честности перед читателем. В подтверждение правомерности шестовского объяснения той неслыханной трагедии, которую пережил Гоголь, приведём слова самого писателя из статьи «Что такое слово»: «Чем истинны выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места... Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели бога...<...> Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям».

Ни Достоевский, ни Толстой, склонные к проповеди, пророчествам и изобличениям, не услышали у Гоголя того, что стало в конечном итоге важнейшей темой творчества Льва Шестова: «Чем выше истины, тем нужно быть осторожнее с ними». Не оттого ли любил Шестов творчество Чехова, что этот «тишайший писатель» из всех русских писателей внял Гоголю, никогда не учил, не проповедовал, говорил почти шёпотом, а его герои произносили самое главное, когда замолкали вовсе? В творческом развитии Гоголя и Чехова обнаруживается удивительный параллелизм, вскрыть который нам неожиданно помогает философия Шестова. Гоголевская и чеховская резвость и весёлость раннего творчества в зрелый период внезапно переходит в грусть и уныние и заканчивается безответным молчанием на мучительнейшие вопросы, груз которых не в силах облегчить самые мудрые слова. Но, безусловно, Гоголь и Чехов, несомненно, разные писатели, их эстетические системы, при внутреннем тяготении друг к другу, существенно различаются. Гоголь замолкает в жизни, сжигает рукопись оттого, что ещё не мог постигнуть искусство молчания, пауз и недомолвок в искусстве слова. Это станет возможным позднее лишь в



искусстве Чехова, когда им будут найдены эстетические средства, выражения невыразимого. Чехов уже умеет «молча» показать явление жизни, каким бы безобразным оно ни было, Гоголю это ещё не доступно. Вот как пишет о преимуществах «литературы молчания» Лев Шестов: «...Гоголь в Плюшкине...создал для скупости страшный образ. ...Не следовало бы Гоголю учить людей сохранять в старости идеалы юности. Коли есть старость – нечего её исправлять и ещё меньше извиняться за неё. Нужно принять её и стараться подсмотреть, в чём её сущность. Плюшкин... нам противен, но, кто знает, может быть, он делает своё, возложенное на него природой серьёзное и важное дело... К чему направлены его силы? Об этом никому нет времени подумать... Люди, конечно, правы: Плюшкины, гноящиеся богатства, очень вредны. И общественная точка зрения почти всегда уместна. Но только – почти. Иногда не мешает морали и общественным соображениям умолкнуть – авось удастся разгадать загадку скупости, безобразия, старости...».

Книги Гоголя Лев Шестов считал столь же загадочными, как и личность самого писателя. Они, по его мнению, за семью печатями скрывают мироощущение великого писателя. Гоголю весь мир представлялся замороженным царством, погружённым в лицемерное смирение перед лицом необходимости. С точки зрения Шестова, Гоголь даже мучительней, чем гениальный Достоевский, ощущал принуждающую силу чистого разума. Чувствуя над собою и «всем миром страшную власть... тех идей, которые создал «нормальный», непосредственный человек и которые выявила и прославила теоретическая философия, принявшая наследие Аристотеля». он также, как и Достоевский, стремился вырваться из власти всемства и преодолеть власть необходимости и других самоочевидностей, при помощи которых Аристотель заморозил мир, хотя, как предполагает Шестов, сам писатель никогда и не подозревал об этом. Но, наделённый даром второго видения, он мог лишь «терзать себя и безумствовать – отдать себя в руки духовному палачу отцу Матвею, уничтожить свои лучшие рукописи, писать дикие письма друзьям своим. И, по-видимому, в каком-то смысле эти беспощадные самоистязания, этот неслыханный духовный аскетизм «нужнее», чем его дивные литературные произведения».

Эта мука, это терзание было спасением и живительным источником для его души, воспротивившейся омертвляющему превращению живого и человеческого в Чичиковых и Ноздрёвых. «Едят, пьют, гадят, размножаются, произносят отяжелевшими языками бессмысленные слова. Нигде ни следа «свободной воли», ни одной искры сознания, никакой потребности пробудиться от вечного сна», – пишет о замороженном царстве мёртвых душ Шестов. Философ, следуя позднейшим признаниям писателя, полагает, что не Россию, как это понял Пушкин, изображает Гоголь в этих страшных образах, а самого себя. Оттого так тщательно он выписывает «все мелкие подробности хаотического состояния потерявшей равновесие души», стремится к хаосу, безумию, устремляется в дикий полет сумасшедшей фантазии. «Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь есть не жизнь, а смерть. Но и их хватает только на то, чтоб подобно гоголевским мертвецам, в глухие ночные часы, вырываться из своих могил и тревожить оцепеневших соседей страшными, душу раздирающими криками: душно нам, душно!», – описывает Шестов существо гоголевской муки его же, гоголевскими, словами.

Это была та самая мука, которая заставляла писателя стремиться к безумию. Причиной, останавливающей на его жалких и бессмысленных переживаниях. Гоголь не боялся головокружения и очень близко, когда серьёзно, а когда, играя, подходил к той черте, к которой не осмеливались подходить другие, скажем, Лев Толстой. «Ему нравилось на мгновение наклонить голову над пропастью и испытать жуть головокружения: он был уверен, что, когда захочет, отведёт глаза от пропасти». – так играл Гоголь со скрытой от глаз смертной действительностью, в которой пребывают отнюдь не люди, а безвольные и безжизненные лунатики.

Культура начала XX в. отразила растерянность человека перед миром и страдание его, часто самим им не сознаваемое, но лишь вырывающееся наружу в образах, которые несут в себе порой неощутимую неприязнь к жизни, уныние, отчаяние, уход от реальности, мистическое познание бытийственных тайн. Истоки такой интуиции – загадочности и ирреальности всего происходящего в России – Д.Мережковский, А. Белый. А. Блок видели в творчестве Гоголя. Литературно-философская критика начала XX века оставила в наследство яркий и полный загадок портрет писателя. Она отвергла «Гоголя Белинского» – основателя натуральной школы, гражданина, «социального поэта» – и создала свой





образ Гоголя-художника. В результате был нарисован образ человека, живущего на грани, а может, и за гранью реальности, прятаясь от действительности «в странный мир своего болезненного воображения», отчаявшегося и погибшего от невозможности подарить людям шедевр, «где блеск красоты и добра должен был эстетически торжествовать над чернотой порока...». Писатели символистского круга, с которым Шестов входил в общение, показали, как Гоголь-натуралист уступил место миссионеру, боровшемуся в своих творениях с дьяволом, воплощенным в пошлости, заполнившей страницы его произведений.

В заключение отметим, что интерпретация личности Николая Гоголя Львом Шестовым в целом углубляет рождённый русскими писателями-символистами образ Гоголя-фантаста, Гоголя-мистика, писателя, ставшем жертвой своего таланта, поддерживающего миф об авторе, чье творческое наследие не допускает жестких и однозначных оценок. Дело, правда, в том, что Шестов преодолевает литературоведческий подход к писателю и видит в нем человека, мятущегося между реальным и ирреальным, бытием и ничто. И это преодоление Шестовым эстетического ведет его – и нас вместе с ним – к глубинам человеческой души великого гения русской культуры, каким является Н.В. Гоголь.

#### Список литературы

1. Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. В 2-х тт., т. 2. Париж, 1983.
2. Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями / Гоголь Н.В. Собр. соч. в восьми томах. М.: «Правда», 1984, т. 7.
3. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М.: «АСТ», 2000.
4. Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ницше. / Шестов Лев, Избранные сочинения. М.: Ренессанс, 1993
5. Шестов Л. Достоевский и Ницше, т.1. М.: «АСТ», 2007.
6. Шестов Л. На весах Иова. Странствование по душам. / Шестов Л. Собр. соч. в 2 тт. М «Наука». Т.2.
7. Шестов Л. Начала и концы / Шестов Л.И. Собр. соч.: В 2 тт. М.: «Наука», 1993.
8. Шестов Л. А.С. Пушкин / В сб.: Пушкин в русской философской критике, конец XIX-X ввек. М.-СПб: «Университетская книга», 1999.

#### LEV SHESTOV AND NIKOLAI GOGOL'

**V. V. Lashov**

*Moscow State University*

*e-mail: L\_vv@me.com*

The paper is an exposition of the Lev Shestov's understanding of the Nikolai Gogol's writings. Shestov offers the interpretation, which opposes both democratic literary critique and symbolist's approach. Shestov insists that we are able to penetrate into Gogol's creativity if his writings will be seen as a tragic effort to transcend the superficial reality through the jump into the dark side of the world and inner dimension of the human spirit. Gogol, Shestov thinks, find himself on the edge on the real and unreal, being and nothingness. Only here is a chance to grasp true and authentic world.

Key words: Shestov, Gogol', Creativity, tragedy, realism, symbolism, the inner world, mystery, revelation.